

Котька в пальтишке, купленном перед самой войной, обиженно присел под вешалкой. Отец подмигнул ему, дескать, делать нечего, сиди дома. Он поднял с пола мешок, коленом толкнул дверь — и как растворился в клубах пара, залетевшего в кухню вместе со снегом.

Мать левой рукой пощипывала кудель, в пальцах правой крутилось веретено, стучало о дно подставленной кастрюльки. Устинья Егоровна готовила посылку для фронта. Вязала из овечьей шерсти подшлемники, варежки, носки, сдавала на

приёмный пункт, вкладывала в варежку письмоцо с кривыми параличными буквами и надеялась — сыновьям достанется её вязание. Сергей со старшим Константином были на фронте с первых выстрелов, от самой границы ломали войну. Письма от них шли не поймёшь из каких мест: литер да номер полевой почты. Гадай, где эта почта. Одно распознавала безошибочно — от кого письмо. Сергеевы аккуратные, треугольнички чистенькие, на самолёте воюет. Костины — те в мазуте выпачканы, мятые. Понятное дело — танкист старший Константин.

Угораздило Костроминых назвать сыновей одинаковыми именами. Посторонние удивлялись, а родных и знакомых эта история давно смешить перестала. А получилось вот что: Осип Иванович на радостях, что последышем в семье родился парнишка, опора на старость, загулял на неделю. Мать в это время придумала последышу имя Вениамин. Уж очень интеллигентно на слух выходило, и к тому же во всём посёлке такого имени ни у кого не было. Отец нехотя согласился, а когда с похмелья пришел в сельсовет, не смог вспомнить мудрёного имени, назвал и младшего Константином.

Устинья Егоровна стыдила-корила муженька, но не идти же в сельсовет документы переделывать: и волокита и стыдоба. Года четыре мать гнула своё — окликала мальчонку Венькой, а отец — Котькой. Совсем было задёргали парнишку, сдалась мать. Так и остались в семье Костя большой и Костя маленький — Котька.

Сидел Котька под вешалкой и думал: хорошо бы сейчас в клуб махануть, на Ваньку Удодова глянуть. Уж он-то там околачивается, Вику подкарауливает, чтоб навялиться до дому проводить. Вика совсем на поселковых девчонок не походит, и говорит чудно, что не слово — будь добр, пожалуйста. Верить ей, так есть на свете янтарные дворцы, фонтаны-обливашки в виде деревьев, или ещё диковины — мосты разъезжаются. Оpozдал домой и жди до утра всю ночь. Да и ночей настоящих нет, белые они, читать можно. Вика к тётке на Амур из Ленинграда эвакуировалась. Худенькая, косточки выпирают, и личико стеаринового просвета. Совсем как мотылёк-подёнок, которого и в руки взять боязно: дыхни — сомнётся. А Ванька вокруг неё гусём вышагивает, вяжется, бугай, жениться небось хочет. А что ему? Паспорт уж год как получил, а всё седьмой класс не осилит. Котьке шестнадцать еще только через два года будет, а догнал его, второгодника. Теперь за одной партой сидят.

Вернулся отец, за ним из клубов пара возник бородатый, в козьей дохе, подпоясанный алым кушаком, хромой батька Ваньки Удодова Филипп Семёнович.

— Здорово были, Устинюшка! — прокуренно забухтил он, охлопывая катанки рукавицами-мохнатушками. Сосульки на усах его тоненько брякнули, он ухватил их в горсть и, оттаивая, медленно потащил вниз, бросил в жестяное корытце умывальника. Они и там брякнули, провалились в дыру, загремели в ведре.

— Здравствуй, Филипп, здравствуй, — кивала Устинья Егоровна. — Разболотайся, окуржевел весь.

— Знатный мороз приударил к ночи изо всей мочи, — складно и весело доложил Удодов. — Такой буран низовой, спасу нет, а небушко вызвездило, аж жуть берёт, какая люминация.

— Дак долго нонче морозу путнего не было, — поддержала разговор Устинья Егоровна. — Зима не зима. Пыжилась-пыжилась, вот и завернула.

— Во-во! — затряс головой Удодов. — Первые-то заснеги в ноябре пали, обнадёжили только, а таперича скоро Новый год, а там Рождество. По всем статьям пора. Зима, она своё возьмёт... Сёдни утресь кобыле ноздри проминать выбегал.

Весь храп лёдом забило, одним ротом сопела, как не задохлась. По стратегии такой рыловорот туды бы, на фронт, гитлерцам сопли к пузу признать.

Он достал из-за пазухи кисет, и они с Осипом Ивановичем зашелестели бумагой, сыпя на неё бурое крошево самосада. Удодовский табак злой, не всякий закурит и не закашляется. Осип Иванович, зная это, свернул тоненькую, опасливую, но всё равно захакал, сел на место и начал пальцами промакивать глаза.

— Это ещё чё табачок, так себе, пучеглазка, — посмеялся Удодов. — Вот прошлого году был, тот форменный вырви глаз.

— Как ты глотаешь такую беду, — заворчала Устинья Егоровна, но перебираться с прялкой в другую комнату не спешила. Филипп Семёнович Удодов, по прозвищу Дымокур, просто от нечего делать не придёт.

Дымокур снял барсучью шапку с торчащим вперёд лаковым козырьком от фуражки — приспособление, им изобретённое, подал Устинье Егоровне лохматый малахай и поплыл скуластым лицом в довольной улыбке. Любил, когда ругают его табак.

— Гостевать долго время нету. Я на мигу одну заскочил, — уверил Дымокур, надёжно устраиваясь на скамейке.

— Редко видеться стали, Филипп, посиди, — попросил Осип Иванович, стараясь отгадать, с чем таким пожаловал на этот раз Удодов. Знал он его давно, с молодости. Годы смахнули с головы чуб, когда-то вившийся из-под казацкой фуражки с околышем, а чудаковатинки так и не убавили и костей на язык, по выражению его жены Любавы, не нарастили.

— Ну чё, Филипп, упёрлись наши насмерть? Столица ведь, а? — Осип Иванович уставился на Дымокура.

Тот сложил на коленях беспокойные руки, зачмокал, раскуривая самокрутку, молчал, сопя волосатыми ноздрями. Так и чудилось: что скажет, так оно и случится. Осип Иванович тянул из ворота сатиновой рубахи худую кадыкастую шею, ждал, но не дождался ответа. Заговорил сам:

— Упё-ёрлись! Сколько же можно пятиться? Некуда больше! Эвон! — кивнул на стену. На ней висела карта СССР, густо утыканная по линии фронтов самодельными красными и синими флажками. Осип Иванович прошелся пальцами по красным, каждый придавил, будто приказал — стоять и ни с места! Флажки кольцом подступили к алой башне Кремля с надписью: «Москва». Осип Иванович отвернулся от карты к Удодову. Тот опустил глаза, вздохнул.

Дымокур кашлянул в кулак и как о решенном деле высказался:

— Не сёдня-завтра Москву сдадим.

Осип Иванович отшатнулся от него, как от огня.

— Сду-урел! — выдохнул он, и на обветренном лице запрыгали желваки. Он вновь пробежал пальцами по красным флажкам карты, всаживая их донельзя. — Всё! Предел!

Дымокур с сочувствием, как посвящённый на не ведающего большой тайны, смотрел на него.

— Ты, Оха, стратегию ни хрена не понимаешь. — Он поморгал на карту. — Наполеёна припомни.

— Ну, припомнил, и что?

— А то, что и над Гитлером ту же комбинацию проделают. Народ весь как есть уйдёт, магазины повывезут. Тоже с дровами, топливом всяким, ни оставят ни полена, ни хрена, кумекаешь? А оголодают они, ознобятся, — вша заест, тиф начнёт косить. По стратегии.

— А чё имя в Москве рассиживаться, вшу кормить да с голоду пухнуть? Как же! — кричал Осип Иванович, посверкивая мокрыми от обиды глазами. — Они дальше попрут без остановки! На Урал! Тогда им полный разгул!

— А не попрут! — Дымокур многозначительно подмигнул, выдержал паузу. — Не попрут, в этом-то и сплошной секрет. Дальше имя заслон кутузовский выставляют, будьте любезные. Сидите, голодуйте, хотите — сами себя ешьте. Кто вживе останется, тот, значит, в плен советский шагом марш. Понял теперь стратегию?

— Всё это хреновина твоя, а не стратегия! На кой пёс за Москвой его ставить, твой заслон! Вот он, стоит уже. — Осип Иванович с треском провёл ногтем по карте, надвинулся на Дымокура. — Москву сдавать не смей, Филипп! Вот он, япошка, только того и ждёт, сразу попрёт на нас, это — всякому ваньке-китайцу известно. Ведь понимаешь, а чего выдумываешь? Сдадут... Вот сдадут тебя за болтовню на казённый харч, чтоб на вошь не надеялся!

— Не шуми, Оха, правда твоя. Я ведь зачем всё такое наворачиваю?.. Чтоб сглазу не случилось, чтоб стояли насмерть без помешки. Стратегия умственная, как не понимаешь?

Довольный Дымокур решил перекурить этот больной разговор. Оторвал клоч газеты, зажал в губах и стал разворачивать кишку кожаного кисета.

Спор Котька слушал стеснив дыхание. И только теперь, когда отец категорически отвёл от Москвы беду, он расслабился, пересел на порожек и откинул голову на косяк. Мать за прялкой потупилась, сидела, мёртво опустив руки, будто отодвинулась от жизни. С пальца свисал оборванный конец пряжи, веретено острым концом смирно торчало из кастрюльки.

Осип Иванович взял у Дымокура кисет, начал готовить «козью ножку». Пальцы его подрагивали.

— Стратег, язви его, выискался. Прямо вылитый маршал Будённый, а не Удодов, ёс-кандос, сидит тут, покуривает. Ты газеты не только раскуривай, а и почитайвай иногда. Радио слушай, не паникуй.

Филипп Семёнович согласно кивал, видно было, сам на сто рядов передумал то же, а что сомнительное ввернул, так это нарочно, чтоб выслушать обратное и душой успокоиться.

— Ты, Оха, грамотный, всё верно обозначаешь. И немцу холку намнём. Я своим на фронт так и написал: «Сукины вы сыны, Паха с Яхой, раз пятитесь. Боевой орден позорите, что семейству удодовскому назначен!» — Дымокур поднял глаза на карту. — Видать, пробрало, упёрлись как следоват.

— Я сынов не стыдил! — жестко сказал Осип Иванович. — Ведь он, подлец, всю Европу на нас толкнул, на сынов наших. А ты — орден, так вас и разэтак, сукины сыны...

Орденом Боевого Красного Знамени, о котором упомянул Филипп Семёнович, был награждён брат его за штурм Июнь-Кораня, по иному — Волочаевки. Брат поднял залегших под огнём на голом поле бойцов, первым ворвался на вершину сопки. Изувеченный в этом бою японской гранатой, он прожил мало. Филипп рассудил так: раз оба в одном бою были рядом, к тому же и сам получил ранение в ногу, значит право на орден имеет. И стал привинчивать его к пиджаку. Его слегка стыдили, посмеивались, а изъять орден никак было нельзя: выдан с правом хранения в семье. Отступились от Удодова: партизанил, ранен, ну и ладно, пусть носит на здоровье. Орден красивый, что его от народа прятать.

Старики выговорились, сидели молча. Вкрадчиво постукивали настенные хо-

дики, туда-сюда бегали глаза на морде нарисованной поверх циферблата кошки. В доме было тихо и оттого тревожно.

— От твоих ребят письма исправно ходют? — наслонив языком самокрутку, спросил Дымокур. Осип Иванович, втягивая щёки, раскуривал свою «козью ножку», что-то мычал в ответ.

— Неделю уж нет, — тихо ответила за него Устинья Егоровна.

Осип Иванович тихонько сплюнул в ладонь крошки самосада, посмотрел на неё сквозь табачный дым.

— Напишут, мать. Сейчас им, поди, не до писем.

Не прерывая работы, мать смахнула со щеки слезу, тут же снова подхватила веретено, крутнула, вытягивая нить.

— Жалко Вальховскую. Одна радость была — Володя. — Устинья Егоровна тяжело вздохнула. — Бабку б ей какую подыскать, чтоб голову выправили, раз врачи не могут.

— Не-е, — Удодов прикрыл глаза, заматал головой. — Это ж каким снадобьем-лекарством память о Володьке из сердца вышибить? Да и грех это, из материнского-то. Вишь, какая выходит сплошная связь.

Устинья Егоровна щёпотью покидала на грудь крестики, шепнула: «Обнеси, Господи!». Котька удивлённо уставился на неё, знал по рассказам, как мать в тридцать втором, после смерти дочери от голода, все иконы выставила в чулан. Свекровь бросилась было вызволять святое семейство, но крепкая тогда ещё Устинья выперла её грудью из чулана, отрубил: «Нет никакого Спасителя, мамаша! Как не просили, а много он тебе и мне помог? Раз слепой да глухой, пусть в чулане сидит, глаза не мозолит».

Не знал Котька другого: как только остановили немцев под Москвой, Устинья Егоровна и все поселковые старухи толпой двинулись к бывшему священнику, теперь фотографу, загребли с собой, и отслужил он по всем правилам молебен во славу русского оружия на паперти Спасской церкви, занятой под нужды спичечной фабрики.

И снова старики молчали, но видно было — думают они об одном. То Удодов, то Осип Иванович бросит короткий взгляд на карту, словно проверяет — на месте ли красные флажки, не изменилось ли чего в их извилистом строе.

— Да-а, механики у него — жуткое дело сколько! — с завистью проговорил Удодов, обряжая в это «его» всех немцев с их Гитлером и со всеми союзниками.

— Долго готовился, подлец, накопил, — сквозь зубы подтвердил Осип Иванович.

Дымокур матюгнулся, покосился на Котьку, дескать, чего сидишь, уши развесил, поговорить путём нельзя. Вытягивая ногу, пробороzdил катанком по полу, сунул было руку в карман за кисетом, но передумал: в кухне накурено, хоть коромысло вешай.

— Слышал, небось, что утром репродуктор сказывал? — Он поднял палец, погрозил кому-то там, наверху. — За единый день только еропланов ихних сшибли девяносто штук! Мать честная, это чё же там дется страшное...

Дымокур вспомнил, что Серёга Костромин как раз на самолётах воюет, но как перевести разговор, не знал, а сделать это как-то половчее надо было.

— Или вот танков тыщу наворочали. Эт-та сколько жалеза надо...

И снова запнулся, закрутил лысиной, казня себя, что совсем не то брякает. Ведь большой Костя танкист.

Осип Иванович с укором глядел на Удодова. Ведь знает же, что и сводки Соинформбюро Осип Иванович слушает, прикрутив штырёк до самой ничтожной слышимости, а на просьбу жены включить погромче отвечает: радио испорчено, барахлит. Устинья Егоровна слушала его и горестно кивала, знала — врёт как сильный мерин, её жалеет. Рассматривала флажки, когда он отлучался, знала — флажки переставляет точно.

— Я к вам чё забежал-то. А вот чё, — начал наконец о деле Удодов. — Мне от фабрики поручили создать типа артели охотничьей. Чтоб, это самое, мясо в столовой было, рабочих посытнее кормить. Просили кандитуры назвать, а каво? Воюют кандитуры. Вот ты да я — и все охотники. А чё? Стрелок ты добрый, ноги ещё носят. Вот и сыты будем, и пьяны, и нос в табаке. Однако... Есть одна заковыка.

Он кивнул на Котьку, дескать, пусть бы шёл куда, раз собрался. Не для ушей ребячьих разговор будет. Осип Иванович засуетился, молодо завзблескивали глаза, даже спину распрямил. Устинья Егоровна оставила прялку и так смотрела на него, будто крикнуть готовилась, мол, что ты, отец, соглашайся скорее, ведь дело-то какое подворачивается, счастьем назвать мало.

— Пойду, Нелю встречу, — буркнул Костя, хотя уходить не хотелось, зудило узнать, что там у них за разговор пойдёт про охоту.

Метель разгуливала вовсю. Ветер подхватывал снег, завинчивал белыми столбами, и столбы шарахались вдоль улицы, расшибались о заплоты, белой пылью уносились в темень переулков. Обмёрзшие окна домов оранжевыми лафтами сквозили в снежной кутерьме. Ветер затолкал Котьку за угол дома, и он прижался спиной к толстому тополю, решил в затишке подождать, всё равно кино, наверное, кончилось, и народ начнёт разбегаться по домам. За стволом не дуло, не село снегом. Спиной чувствуя бугристую кору тополя, вспомнил, как стоял тут осенью, совсем недавно, а кажется, давным-давно.

В тот день буханье оркестра свалилось с горы на берег Амура, насторожило рубачивших парнишек. Они тянули шеи и удивлёнными глазами бегали по угору. Кто-то свистнул, и все дружно сорвались с мест. Пузыря рубашонками, обгоняя друг друга, весёлой стайкой ворвались в посёлок. Народу, всё больше женщин, высыпало на главную улицу непривычно много. В мирные-то дни духовая музыка была в диковину, а теперь... И хлынул народ узнать, по какому случаю торжество. Кто кричал: «Конец войне!», кто: «Перемирие!», другие, наоборот: «Американцы второй фронт открыли».

Гром оркестра наплывал, глушил выкрики. Подскочил Ванька Удодов, проорал в самое ухо:

— Ты понял цё? Сталин вызвал Гитлера на кулачки, чтоб кто кого, и баста! Да ка-а-ак взглиздил в косицу. И уби-и-ил! А фрицы струхнули без хюрера и в Германию упендюрили! Моряки в город идут, парад будет!

— Ура-а! — вопил Котька, глядя на дорогу, что вела с базы Краснознамённой Амурской флотилии в их посёлок, дальше — к товарной станции у железнодорожного моста и ещё дальше — в город. Чёрный поток медленно сплывал с пологой горы. Весело взблескивало, гремело и ухало в голове потока. Красным и сине-белым рябило над бескозырками от развёрнутых на ветру знамён. Голова колонны — по четверо в ряд — уже шагала поселковой улицей, а хвост её всё ещё был откинут за гору.

Матросы шли в бушлатах, винтовки несли дулами вниз, широкие клёши мели дорогу, ленты бескозырок траурными концами захлёстывали суровые лица. Нестройный их хор вторил оркестру:

*Даль-не-восточная,  
Смелее в бой!  
Красно-зна-мённая,  
Даёшь отпор —*

требовали матросы. Сквозь многоголосый рёв еле-еле пробивались испуганные охи мощного барабана. На забор за спиной Котьки взлетел радужнопёрый петух Матрёны Скоровой, соседки Костроминых, отчаянный горлопан и топтун. Ошалело дёргая выщипанной шеей, он широко распахивал желтый клюв, но крика его не было слышно, только маячил острый язычок да от натуги накатывали на глаза голубые веки.

Над колонной неподвижно висела красноватая пыль, над ней далеко и редко стыли в тихом осеннем небе серебристо-зелёные колбасы аэростатов. Даже голуби не кувыркались над посёлком, а стайки воробьёв серыми комочками жались по карнизам. Впереди оркестра метался вислоухий неместный щенок, потом отпрыгнул на обочину, сел на обрубленный хвост и вытянул вверх беззвучную морду.

— Глянь! — подтолкнул Ванька. — Вика с тёткой идёт!

Марина Вальховская семенила сбоку колонны, ухватив рукой полу бушлата молоденького матроса. На одном плече матрос нёс винтовку, на другом висела гитара. Это был Володя, сын Марины Петровны, год назад призванный на службу. Вика приехала недавно и видела двоюродного брата впервые. Она забегала так, чтоб рассмотреть его получше, что-то кричала ему. Володя растерянно улыбался сестре, мягонько отдирая руку матери от полы бушлата, сам косился на политрука. Тот бежал вдоль колонны, отсекая от уставной стены чёрных бушлатов женские душегрейки, платки, береты. Внезапно оркестр смолк, и голос политрука, настроенный на перекрик грома, прозвучал пронзительно-строго: «...оинская часть вам не табор!»

Политрук нёсся в хвост колонны, то и дело отмахивая на спину новенькую планшетку. Она упрямо сползала вперёд, била его по коленкам. Низко подвешенный сзади наган болтался за ним на отлёте. Политрук устал, из-под фуражки с золотым крабом тёк по лбу пот, топил озабоченные непорядком глаза.

— Граждане! — призывал он. — Военнослужащие напишут вам с места! Какие разговоры в походном строю, не положено!

Разваливая по сторонам клубы пыли, сбоку колонны юркнула чёрная «эмка», остановилась. Пожилой моряк с лесенкой золотых шевронов на рукаве кителя крикнул:

— Младший политрук! — и подбежавшему политруку тихо, вразумляюще: — Ну что вы так-то? База и посёлок соседствуют, вот и завели невест, жён, вот и провожают, и правильно делают. По жизни всё правильно, поняли?

Усталый политрук козырнул, проводил «эмку» повеселевшими глазами, и сразу стал как все тут — свой, дорогой. Почувствовав перемену к нему в настроении окружающих, голосом, освобождённым от уставных нот, разрешил:

— Провожай, но не втискивайся в строй, гражданочки! — И чуть построжав: — Ждите со скорой победой! Папаши, не посраим ваших заслуженных седин!

И зашагал широко и вольно в ногу с колонной.

Рядом с Котькой под топодем скопилось много народа. Старухи крестили про-

ходящие враскачку шеренги, деды курили, хмуρο глядели из-под козырьков, будто сравнивали войско с тем, другим, давним, в котором сами шагали вот так же когда-то. Приписная к военкоматам молодёжь перемигивалась, подталкивала друг друга локтями. Уж не было разговоров о конце войны, о параде. Они поначалу выплеснулись, ликуя, но быстро сникли и завяли, как вянет трава, выползшая не в пору по ранней весне, по неверному еще теплу.

Не скоро хвост колонны пропылил посёлком, втягиваясь на исполосованную рельсами, пропахшую мазутом и освистанную паровозами сортировочную. Котья сунул удочки под крыльцо, влетел в пустую избу, плюхнул связку чебаков в тазик с водой и бросился догонять мальчишечью ораву. Парнишки пристраивались к матросам, усердно подбирали ногу, кое-кто форсил в бескозырке — матросы на ходу набрасывали их на выгоревшие от солнца головы ребятам, как бы приравнивая их к себе.

Бригада рассаживалась по теплушкам. Вдоль вагонов бегали, хлопая клёшам, плечистые военморы, на манер революционных моряков перепоясанные пулемётными лентами. Из вагона-камбуза кок в белом колпаке и переднике раздавал старшинам лужёные бачки.

— За обедом на следующей станции, — каждому наказывал он и бросал в бачок поварёшку.

Сновали улыбчивые медсёстры в синих беретах на кудряшках, в облегающих, будто приутюженных к телу, юбках и синих форменках. Сбоку у них болтались тугие брезентовые сумки с кровавыми крестами в белом круге. Огромный старшина с нашивками комендора выкрикивал из теплушки:

— Первая часть Лунёва!.. Где Лунёв?

— На брановахте Лунёв!

— У него на шее подружка якорем!

Матросы смеялись. Комендор сдвинул бескозырку с огненного чуба на печальные глаза:

— Добро. Подменяет вахта Климшина. Где Климшин?

— Есть!..

С крыши вагона заиграл горнист. Ребятишки пялили на него завистливые глаза, шушукались. Юнга-горнист был одного с ними возраста, но шёл со взрослыми на настоящую войну в ладно подогнанной форме, с маленькой кобурой на флотском ремне. Он был для них мечтой недосыгаемой, героем был.

Увидев в толпе Котью, Ванька Удодов пробрался к нему, заорал, растягивая ворот рубахи:

— Вида-ал?

Заветная, сине-белыми полосками скалилась из прорехи флотская тельняшка. Удод успел, выцыганил её у кого-то, напялил и ошалел от счастья. Откуда-то вернулся тщедушный Вася Ходя и тоже завистливо вытаращился на полоски.

— Не чухайтесь, ребя! — Удод притянул их головы к своей. — У кого дома водка есть или какая бражка — тащите. Флотские за четушку ремень с бляхой отвалят или тельняху. Беги, Ходя, не стой. От твоего батьки остался чан с самогонкой, в подполье зарыт, я знаю. Ташши, потом с тобой рашшитаемся. И ты беги, Котья.

Васька Чи Фу, по прозвищу Ходя, боготворил Удоду, всюду шлялся за ним, хоть и получал от него всевозможные обидные клички, и на всякую откликался с готовностью. Может потому они не прилипали к нему надолго. Мать у него

русская, а отец кореец-зеленщик. Самые ранние огурцы и редиски были у Чи Фу. Отец с корзиной на прямом коромысле вечно раскачивался тощей фигурой по улицам, нараспев предлагая отборный товар. Поселковые плохо покупали его овощи, хотя и стоили они грош. Знали, от каких таких удобрений редиска на грядках прёт в кулак, а огурцы в скалку. Поэтому старик слонялся по городу или по базе флота, где всё шло нарасхват. С началом войны зеленщика куда-то увезли. Васька остался с матерью. Из Чи Фу он стал Чифуновым, вполне русским, хотя русские слова упорно коверкал по-отцовски.

И сейчас на приказание Удоды он с готовностью задёргал головой.

— Чичаза моя скоро! — пообещал он, посверкивая плоскими, косо отчёркнутыми к вискам глазками, и сорвался с места. Котька приударил следом и вскоре взлетел на ступени высокого крыльца, рванул дверь. К нему, заполошно прыгнувшему в избу, повернулось испуганно несколько старух, сидящих за кухонным столом. Они собрались у Устиньи Егоровны пошвыркать чаёк, пошептаться. Всякая принесла с собой в платочке сахарку, кусочек хлеба, а кто и чаю щёпоть. В каком теперь дому попотчуют как прежде «чем Бог послал»? А со своим — хозяйке не в тягость, подавай кипяток и — полное удовольствие.

— Каво стряслось? — мать привстала с табуретки, пытливо вглядываясь в потное лицо Котьки. А он замороженно смотрел на стол. На нём стояла четвертинка водки, заткнутая газетным катышком. Старухи выставили её для поддержания обычая. Пускай не родные сыны прошли посёлком на фронт, всё равно там своим поможет и убережёт соблюдённый матерями обычай — провожать в путь-дорогу горькой чарочкой. И стояла четвертинка распчатой в окружении гранёных стопочек старого стекла с радужной побежалостью, обещанием свидания светилась.

— Отдадут, не отдадут? — гадал Котька, оглядывая старух, и не удивился, увидев среди них соседку Матрёну Скорову, большую ругательницу, вечно враждующую со всеми — вместе с войной утихла всякая вражда и ссоры.

— Ты чё такой? — тихо спросила Устинья Егоровна, и Котька понял — бежал зря.

— Четушку надо, — сказал он, опустив голову. — Флотские за неё тельняшку дадут.

Всё поняли старухи. Лица их вытянулись, стали суровыми, точь-в-точь как на тех иконах, что видел Котька в притворе бывшей церкви. Сваленные в угол, иконы строго смотрели из полутьмы на мальчишек, и не то грозили сложенными пальцами, не то просили: «Тиш-ше». Такие же лица были теперь и у поселковых старух.

— Ах ты, Господи! — Устинья Егоровна колыхнула руками, пальцы её смяли, зажамкали фартук, быстро закарабкались по груди и замерли у горла.

— Чё удумал-то, окаянная твоя душа? — каким-то дальним голосом, севшим до шёпота от стыда, выговорила она и обронила подол фартука. — Парни на зиму глядя воевать идут, а ты...

Мать захватала со стола стопочки и под одобрительный гомон старух начала сливать их тряской рукой в четвертинку.

— Ты имя просто так поднеси. — Она протянула посудинку. — А то грех-то какой удумал, идол такой, гре-ех!

— Оборони Бог! — закрестились старухи.

Устинья Егоровна подтолкнула сникшего Котьку к двери.

— Беги, поднеси на дорожку, да ещё поклонись имя.

Старухи за столом чинно закивали. Котька выбежал из дома. Вслед ему донеслось:

— Попробуй заявись в зебре, отец тебя!..

Эшелон отходил. На путях не было ни одного матроса. Откатив в стороны тяжёлые створки теплушек, они густо стояли в проёмах, висели на заградительных брусках, трясли протянутые к ним руки, тискали растрёпанные головы девушек, целовали в зарёванные глаза, деланно смеялись, громко и невпопад. Уши девчонки были зажаты жениховыми ладонями, они ничего толком не слышали, но тоже улыбались опухшими губами, выкрикивали что-то своё.

Свесив из теплушки ноги, чернявый матрос рвал на коленях старенькую гармошку-хромку, серьёзно орал в лицо окаменевшей подруге:

*Не ревнуй ты, дорогая,  
Ревновать неловко!  
У меня теперь милая —  
Меткая винтовка!*

Взвизгивала, хрюкала гармошка, малиново выпячивая ребристый бок. Топталась у теплушки весёлая вдовушка Катя Поцелуева.

— Куда вы, мальчишечки? — озорно кричала она. — Оборону от япошек мы тут держать станем, бабы, что ли?

И сыпанула стёсанными каблуками туфель по утрамбованному, заляпанному мазутом гравию дробь чечётки. Белые кисти камчатой шали припадочно хлестались на груди о чёрный бархат жилетки.

*Пригревает солнце бок,  
Разыгралось солнце.  
Смотрят немцы на Восток,  
Видно ждуют японца —*

частила она, откинув голову и ладно пристроив голос к гармошке. Ноги выдывали такого чёрта, аж брызгали из-под каблуков камешки и пулями щелкали по рельсе.

Котька протискался к теплушке на огненный чуб. Старшина с нашивками комендора стоял, касаясь головой проёма, и хмуро смотрел вдаль поверх бескозырок. Никто не кричал ему последних напутствий, не обнимал.

— Дядя-а! — пробил сквозь гомон свой голос Котька. — Возьми на дорожку, мамка просила!.. Дядя-я!

Всполошно заголосил паровоз, эшелон дёрнулся, заклацал буферами, и людской рёв ударил прибором. Котька пошёл рядом с теплушкой, натываясь на женщин, подныривая под руками.

— Это тебе, дядя-а! — вопил он, протягивая четвертинку. — Возвращайтесь скорее!

Комендор смотрел на него недоумённо, хмурил брови, ничего не разбирая из-за шума.

— Да что же вы, берите! — надрывался Котька. — Возвращайтесь, я вас встречать стану-у!..

Комендор потыкал пальцем в Котьку, потом себя в грудь и начал суматошно расталкивать флотских.

— Раздайся, братва! — сияя, требовал он. — Мой салажонок! Меня провожает! Он дотронулся до четвертинки, взял и не глядя сунул её назад кому-то. Тут же стащил с головы бескозырку и завозился над ней.

— Братанам Серёже с Костей привет передайте! — прибавляя шагу за набира-

ющей ход теплушкой, наказывал Котька, совсем не думая, знает матрос их или не знает. Раз на фронт едет — встретятся.

Комендор кивал огненной головой, потом протянул ему загорелую руку с синим накрапом татуировки. В пальцах его на ветру полоскалась чёрная ленточка.

— Держи, братка! — он подмигнул мокрым глазом. — Большим вырастай, понял? Учись как следует, понял? Серёга, говоришь? Костя? Переда-ам!

Котька отставал. Уже издали донеслось:

— Носи и помни, братишка-а-а!

На фронт Котька провожал впервые. Братья призывались на службу до войны, и отъезд их был радостен. Теперь провожание было не то...

Всё дальше убегал эшелон, увозил чужого человека, а казалось брата, большого и доброго, увозил. Сквозь слёзы глядел Котька на ленточку, читал золотом оттиснутые, чёткие, но ставшие расплывчатыми буквы:

— М-о н-г-о-л, — шевелил он губами. — К-А-Ф.

«Мать поклониться велела!» — вспомнил только теперь и вслед последней теплушке, которую раскачивало и бросало на стыках, поклонился поясно раз, другой, неумело и быстро.